

Леонид Нестеров

Месяц Безумного Волка



Леонид Нестеров
Месяц Безумного Волка

«Издательские решения»

Нестеров Л.

Месяц Безумного Волка / Л. Нестеров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835961-3

Драматург А. Володин называл автора «первым номером» (хотя сам автор считал себя третьим после Бродского и Высоцкого). Писатель В. Катаев сказал, что впервые встречает стихи, про которые не может понять — хороши они, плохи или гениальны. Композитор Г. Свиридов собирался написать вокальный цикл на венок сонетов из этой книги. Один белый стих отсюда занял призовое место на весьма престижном англо-ирландском конкурсе.

ISBN 978-5-44-835961-3

© Нестеров Л.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
Звезда над школой	7
Месяц Безумного Волка	12
Венок сонетов	18
Пять писем к одной женщине	25
Попытка автопортрета	28
Россия, такая Россия	34
Персональный бестиарий	44
Прогулки	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Месяц Безумного Волка

Леонид Нестеров

© Леонид Нестеров, 2017

ISBN 978-5-4483-5961-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Не цветы, не собаки,
не мужа и не жены —
всего-навсего знаки,
в зеркалах отраженные,
мы читаем друг друга
то с улыбкой, то плача...
В том не наша заслуга
и не наша удача.

Звезда над школой

На городском вчерашнем пустыре,
где мятая газета белым зверем
шевелится в кустах, и страшно думать
о сумеречной жизни утиля,
вечернюю – с французским и английским! —
воздвигли школу. Bravo, исполком!
Прощаю волокиту с телефоном,
недвижный лифт, а также – унитаза
текущую трубу... Сим победишь! —
теперь в районе спальном появилось
где душу отвести по вечерам:
рыбацкие, до бедер, натяну
бахилы – утешенье рыболова
ненастной постаксаковской поры —
и – к школе! Потому как ни одна
звезда не колет глаз, не озаряет
строителями вздыбленную землю.
В два счета можно в лужу оступиться
и насморк получить. Лишь где-то там,
у горизонта, слабое сиянье
огромных окон – праздничный корабль
плывет как будто в темном океане.

Примерюсь, загляну в иллюминатор —
костистый распоясавшийся житель
незнаемых глубин... А за окном
глаголы совершенные спрягает
хор голосов... Вот то-то и оно!

Не телевизор смотрят, не читают
романы про блондинок и шпионов,
не маленькую давят на двоих...

Диковина, и только! Отгребу,
чугунными ногами спотыкаясь
по страшному ночному пустырю,
пойду домой... И вдруг меня возьмет
по совершенству, свету и надежде,
которая у этих – за стеклом! —
тоска такая, что на полдороге
остановлюсь, но зарево уже
чуть видимо, а утром на работу
к семи... еще тащиться в темноте...

Пусть рухнет дом, и опустеет сад,
и маленький зеленый человечек —
трехглазый, шестипалый, с птичьим клювом,
не знающий, на рынке что почем, —
придет и запалит звезду над школой!
И мы, от нетерпенья обалдев,
потянемся под светом беспощадным
себя забыть и заново учиться
нелепому искусству цирковому —
уменью жить достойно на Земле...

Вчера столбы вкопали, но пока —
сказали – нету денег на проводку.
А маленький зеленый человечек
уже до Португалии добрался —
иначе чем погоду объяснить?

Прогулявшие Школу, на что вы надеетесь?
Не удастся украсть вам у Клары кларнет.
Прогулявшие Школу, во что вы оденетесь,
чтобы место занять на параде планет?

Прогулявшие Школу, вы зря ерепенитесь —
ваш текущий успех и почет не в зачет.
Прогулявшие Школу, никуда вы не денетесь —
дверь вот-вот отворится, и Дьявол войдет.

Наши прошлые дни и дороги
позабывши, как стон и как стыд,
мы стоим на высоком пороге,
каждый словно гвоздями прибит.

Каждый словно... Не надо метафор!
Их тщета утомила меня.
Белый враг наш не соль и не сахар —
Белый День, что бледнее Коня.

Он придет неожиданно скоро,
полая холодным огнем,
и от нашего дома-позора
наше счастье ускачет на нем

В те пространства к неведомым далям,
в окружень невиданных стран,
чье дыханье пропахло миндалем,
как Бобо, как цветок, как циан.

Мрачный лес был без края,
а лучше сказать – без предела,
Солнце скупо светило, седины мои серебря.
Из кустов на меня серо-бурая белка глядела
и сказала мне вдруг:
«Человек, не стыдись сам себя!»

Долго-долго приказа того,
а быть может мольбы, отголоски,
то взлетая по-детски альтово,
а то уходя на низы,
донимали меня:
я немножечко стал Заболоцким,
а немножечко – Васей Блаженным,
а может, Линь Цзы.

Мне по жизни теперь
никогда не летать вольной птицей,
не скользить легкой тенью
среди беззаботных теней.
Слишком трудное дело —
себя и тебя не стыдиться,
тяжелее работы, пожалуй, на свете и нет.

Хватало и кефира и вина,
в избытке было девочек и пива,
но, словно огненные письма,
пришли березы в середину пира.

Клубился дым, и поднимался ОН,
и явственно видением и словом
сказали мне: «Ты взвешен и сочтен
и найден легким, теплым и дешевым».

И среди них неопалимый куст
отвесил мне недобрую улыбку:
«Мы изблюем тебя из наших уст,
как времени избытую ошибку».

Они ушли попарно и толпой.
И впрямь, я нужен им, как рыбе зонтик.
Слезу уронишь? Ну и черт с тобой!
Оглянешься? Лишь лес на горизонте.

Усохшие травинки

в мазуте и пыли —
четыре половинки
меня ко мне пришли.

Столпились у постели,
нарушили уют —
и тело мое ели,
и пили кровь мою.

Шутили между делом —
подобие людей —
и становились телом
теплей и розовой.

А я, узнавший цену
себе, издалека
смотрел на эту сцену,
как будто с потолка.

Залаяла собака.
Ответила жена
и дочь, но я их знака
не понял ни хрена.

Деревья не боятся высоты —
им дождь струится каплями для сердца,
но к высоте не прикасайся ты —
на высоте тебе не отогреться.

У высоты так радости скудны —
шальная пуля и живая птица,
с какой ни приглядишься стороны,
твое там сердце не захочет биться.

Но иногда – о это «иногда»! —
для самых нерастраченных и лучших
дорога открывается туда —
храни тебя Господь на всякий случай!

Пройдешь по ней ты не по воле ног,
сорвешься мигом – капелька простая!
И сразу перевернутый бинокль
к твоим глазам как будто бы приставят.

Земля лицо уменьшила свое,
букашками – машины, люди, звери...
Лишь горе обнаженное твоё
стократно увеличилось в размере.

Когда-нибудь, в Полночь Открытых Дверей,
кобель, Божий старец и сука,
незванный татарин, презренный еврей
войдут в мое сердце без стука.

По всем закоулкам и не торопясь
пройдутся бесшумно, как тени,
вникая в души хитроумную вязь
и жил тугодумных сплетенье.

Я буду для самой невзрачной Муму
распластан, как будто на блюде, —
пусть каждый возьмет, что потребно ему,
а что непотребно – забудет.

С добычей уйдут они. Ночь на дворе.
Ни зги... Полнолуние им бы!
Ну разве что плешь моя, вся в серебре,
им светит подобием нимба.

Дождь не пролился, и снег не растаял,
разве что искры погасли в золе.
Время, взглядишь в нашу черную стаю,
что разлетелась по белой земле.

Что в нас глядеться? От корки до корки
нас прочитав наши дети смогли —
скажут нелепые, как поговорки,
наши хромящие костыли.

Баба – не птица. Урок – не наука.
Пузо – железо. Беда – не одна.
Может быть, завтра я высвечусь внукам
в виде слепого немого пятна.

Ручки и ножки... Прощай, человечек
речи, не вышедший из берегов,
ни расставанья не будет, ни встречи —
был ты таков или не был таков.

Месяц Безумного Волка

Отплыть будет незаметное,
и не поднимется галдеж,
когда не то что в кругосветное,
а в круготемное уйдешь.

Исчезнешь ли? Какая разница
твоим словам или делам?
Вернешься ли? Не будет праздника —
чай, не Колумб иль Магеллан...

Так не хватай руками потными
жизнь, лучше бороду побрей
и, чтоб игру закончить понтами,
ходи с бубей, ходи с бубей.

Как тебя назовут – таким поплывешь ты назад.
Назовут Сыном Божьим,
свечу в изголовье поставят —
по знакомой тропинке потащишься в рай или ад,
выбирая из двух —
арифметика, в общем, простая.

Воспоет государство,
имя-отчество к стенке прибьют —
тебя Сталин на Бардо,
а может быть, Путин обнимет,
рукотворный, но Вечный, Огонь,
Мавзолея приют
осенят тебя крыльями, станут твоими.

Кто меня назовет, ошибется вдвойне и втройне —
я – квадратик мозаики желтый на синем,
треугольник зеленый на красном —
почему бы и нет?
Кем хотел бы я быть, у меня и у вас не спросили.

До чего хорошо умереть бы ни этим, ни тем,
чтоб сказали: «Он темен был
нашей прозрачности ради,
только булькало что-то там в той темноте,
только сыпались искры,
как от кошки, которую гладят».

Тридцать второго числа
в месяц Безумного Волка
река, что меня унесла,
вспять повернет ненадолго.

Словно бы пса, супротив
боли последней и дрожи,
в белую ночь возвратит
мальчика в чертовой коже.

Он, на придумки горазд,
пальцами веки поднимет
и на неведомых вас
взглянет глазами седыми.

Буйство времен и систем...
Грязь и кровавые пятна...
Что он увидит пред тем,
как уноситься обратно?

Короток праздник земной...
Речка слезой небогата...
Лягут меж вами и мной
отмель и два переката.

Между трех кораблей пузырилась рубаха,
нахлебавшись воды незастегнутым ртом,
и спокойно, без лишнего мата и аха
повторял мегафон: «Человек за бортом!»

Простирала рубаха то руки, то ноги,
«Всех прощаю, – кричала, – меня всяк прости!»
И по шлюпочной первостатейной тревоге
торопились матросы рубаху спасти.

На руках раздувались и вновь опадали
жилы в ритме гребков – некрасивый красив.
Так, наверное, Белый на черном рояле
нашей жизнью играет от «до» и до «си».

И кипела волна под напором тельняшки,
от дыхания потных натруженных тел,
а счастливый владелец несчастной рубашки
беззаботный и голый над ними летел.

Он летел в ту страну, где не плачут, не стонут,

где любому работу по сердцу дают,
где в огне не сгорают и в море не тонут,
где тебе безразлично – что север, что юг.
И смеялся в душе, что рубашки за-ради
там внизу истязают себя – ха-ха-ха!
И не ведают, что его ждут в Китеж-граде,
а рубашка – обманка, трава и труха.

И на это ему высота ничего не сказала,
никогда не сказала, что он потому не упал,
что в полете ему эта сила гребцов помогала
и такой же Спасатель под мышки держал.

Запасная скамья человек
так длинна, что не видно конца.
Подвывая и прокукарекав,
я сажусь, постаревший с лица.

Знаю, место мое у параша —
молодые сидят впереди,
их Наташи, и Маши, и Даши
прижимают к горячей груди.

Но труба разлетится по нервам,
и расколется небо огнем,
и последний окажется первым —
я тотчас позабуду о нем.

В этот Свет, где проявлены сути,
он войдет, забыв про меня,
и на горло себе не наступит,
чтоб безумную песню унять.

Я останусь без дела и слова,
снова путая яви и сны,
и по старой привычке по новой
в тупике, на скамье запасных.

А был ли мальчик? Может, зверь, —
спрошу, от смелости бледнея, —
меня не выше, но длиннее,
прошел, крадучись, через дверь,
для нас закрытую теперь?
А может, пролетевший ангел,
на время в человеческом ранге?
А может, бес? Поди проверь!
А может, мачо горячо

с красавицей через плечо
пророкамболил? – так вернее.

Спою. Совру. В кармане фигу
запрячу в книжный переплет,
и Бог, предчувствуя интригу,
в библиотеке эту книгу
на два столетья заберет,
прочешь чтоб задом наперед.

А был ли мальчик? По легенде,
нам ложка дорога к обедне,
а на поминках мы давно
едим руками, пьем вино,
перед глазами все смешалось,
и остается лишь одно
воспоминание: как жалость
с печальным шумом облажалась.

Неприкаянной динозавра,
завершаю свою игру.
Кто заменит меня послезавтра,
если завтра я вдруг умру?

Эй вы, кто там, долейте пива —
отстоялся мой путь земной,
поднимите выше стропила
для того, кто идет за мной!

Веселясь не с нами, а с ними,
он – я вижу его прыжок —
с запылившейся полки снимет
предназначенный мне пирожок.

От Багрового деда до внука
нам досталась одна маета,
и полезная жизни наука
не дана, а скорей, отнята.

Не по-взрослому и не по-детски,
в двух шагах от детей и жены,
мы стоим и, как зверь в перелеске,
никому ничего не должны.

И в последнем нестарческом горе —
очи долу, но брови вразлет —
я еще напишу на заборе

все, что в голову эту взбредет.

Я не знаю – в кровати иль в поле, во ржи,
на столе или в спальном вагоне
мама с папой сложили меня. Подержи,
словно тяжесть, меня на ладони!
Кто б ты ни был, я весь у тебя на виду,
незатейливый, как Буратино.
Как пришел я, не ведая, так и уйду,
только знаю – с тобою единый
я останусь восторгом грядущей беды,
этим мигом небрежного взгляда
и прощального крика земли и воды
не услышу, да мне и не надо.
Удержи меня музыкой или в горсти,
словно шарик, надутый тобою,
мимоходом прости, а потом отпусти,
и я в небо взлечу голубое.

По ком мной плакалось? А может быть – зачем?
А может быть, забавы просто ради?
А может быть... Да ну ее в качель —
страницу, надоевшую тетради!

Мной плакалось про музыку глуши
нечеловеческой, куда мы все заходим
попеременно в поисках души
и ничего в потемках не находим.

Мной плакалось, как праведник спесив —
лишь к Богу тянет бледные ладони,
а грешник выбивается из сил
спасать рубаху – ведь рубаха тонет!

Мной плакалось, как будто к ноябрю
пусты леса, лишь скудный дождик льется.
Пришел апрель, и я вам говорю:
вчера мной плакалось. Сегодня мной смеется.

Тебе – веселому и голому —
пришла повестка на правож,
не позабудь приставить голову,
когда на улицу пойдешь.

Не позабудь собраться с мыслями,
чтоб было все как у людей,

но вазу с яблоками кислыми
с той самой яблони разбей.

Пуškai Добро и Зло закатятся
в далекий угол под кровать,
чтоб любопытной каракатице
пришлось их раком собирать.

А дверь тихонько отворяется...
Пора идти и старику,
который на полу валяется,
сказать последнее «ку-ку!».

Венок сонетов

Вступление

Тебе посвящаются, жизнь,
сто строчек последней недели,
уж все мы глаза проглядели,
когда ты ударишь? – скажи!

Ни выпить нам, ни закурить —
мордастым твоим запевалам,
должны мы – ни много ни мало —
хоть в слове тебя повторить.

И черные камни – у ног,
и синее небо – в Начале,
и красная дрожь иван-чая —
как будто последний звонок.

Сейчас небеса разведут
и выпустят нас на арену —
нам лучше ослепнуть, наверно,
на эти пятнадцать минут.

1

Переложу себя на Голоса:
на реквием, а лучше на мазурку —
так опускают камешки в мензурку,
чтоб вычислить удельные веса.

О чем поешь, мой хриплый, пропитой?
О чем молчишь, мой ангельский, приятный?
Какие солнца и какие пятна
сокрыты за мелодией простой?

Во времени, как посреди травы,
в том Голоса по-своему правы,
что требуют вниманья и участия.

Все некогда прислушаться к себе —
своей эпохе и своей судьбе,
чтоб целое звучало тише части.

2

Чтоб целое звучало тише части,
пусть пламенем от головы до ног
пройдет по мне причастности поток —

вмешательство непрошеного счастья.

Замолкни, Голос счастья и ума,
чтоб не сказало будущее хмуро,
что за моей повадкой трубадура
скрывается расчетливость сама!

Оставь мне пропасть, чуждую другим,
сгустившееся время, серный дым,
рогов и крыльев редкие напасти,

кокетливый, ехидный Голосок,
крючок и рыбку, сито и песок,
шквал памяти – моей сильнее власти!

3

Шквал памяти моей сильнее власти,
корабль Благоразумия, прости —
достаточно сидели взаперти
оптовые и розничные страсти!

Креплендо, Голос – главная улика,
которую инспектор приберег:
как на две плахи – вдоль и поперек —
меня – вот так! – хватает на два крика.

Да! Виноват! Не умолчу, не скрою —
как потерявший ветер я не стою
расходов на такие паруса!

В защиту под сурдинку, анонимно,
на перекрестке шлягера и гимна
пусть жизнь себя споет за полчаса.

4

Пусть жизнь себя споет за полчаса —
пройдет передо мной зерно, помада,
гостиница, фабричная громада...
А может быть, июльская роса?

Перемелю, осилю эту кость
сомнительных вопросов и ответов,
ведь жизнь – в собачьем виденье предметов —
есть верность, выполнение и злость.

Я, понедельник начиная с драки, —
в житейском толковании собаки —
несу свой крест у Бога на виду.

Наверное, приятней в светлой лени
парить над суетою поколений,
сформировав за пазухой звезду.

5

Сформировав за пазухой звезду,
как пенсию – печатью и распиской:
«Сим подтверждается, что небо близко», —
я в дом суровый песенку введу.

А ну-ка потеснитесь, Голоса,
вам – барственным, почти что порционным,
вам – телефонным, полупокоренным,
отставки выпадает полоса.

Садитесь ближе, беглое дитя,
вернувшееся столько лет спустя,
и мебелишку не судите строго...

А в этот миг, особенно нужна —
как менестрелю долга и рожна, —
мне повторится дальняя дорога.

6

Мне повторится дальняя дорога
от праотцев до некоего дня,
пока сдирала песенка с меня
три шкуры подоходного налога.

Я временем платил и удивленьем —
бесценная валюта юных лет,
в итоге чтобы мне – физкультпривет! —
махнула правда хвостиком оленьим.

Но вскоре ветер зрелости моей
прошелся, словно древний суховей,
как засуху, вручил мне резкость слога

и, песенку оставив на земле,
меня вознес, как будто бы в седле,
пониже червяка, повыше Бога.

7

Пониже червяка, повыше Бога —
простецкий человеческий удел,
которым в совершенстве я владел
и думаю владеть еще немного —

настолько, чтоб сказать тебе, эпоха:

спасибо, что под солнцем и луной
есть расстоянье в песенку длиной
меж временами выдоха и вдоха!

Лишь песенка да скверная погода
останутся как продолжение рода
в нечаянно случившемся году,

когда в той высоте, где – против правил —
архангел сник и дьявол след оставил,
я с маршевою выкладкой пройду.

8

Я с маршевою выкладкой пройду —
задиристый кузнечик голосистый,
исчезнувший под скаткою ворсистой,
доверившийся Страшному Суду.

Но вещей сон мне снится иногда —
как Страшный Суд на одуванчик дунул
за то, что ничего тот не придумал
в свою защиту, кроме «да» и «да».

И я, лишенный как бы оперенья,
прозрачен стану до самозабвенья,
среди имущих душу сир и наг...

Я просыпаюсь, Голосам подвержен,
и понимаю – в сущности отвержен —
все будет так. Но будет все не так.

9

Все будет так. Но будет все не так.
Пол отскребут и вымоют посуду,
когда вне расписания отбуду
я в те пространства, где приспущен флаг.

Какой бы горн ни требовал меня,
какая бы заварка ни кипела,
не предложу я ни души, ни тела,
воистину спокойствие храня.

И так пойдет привычно служба эта,
как солнце отоваривает лето,
как дрозд поет и расцветает мак...

Но час придет, и Голос за стеною
напомнит все, не сделанное мною,
как молнию подчеркивает мрак.

10

Как молнию подчеркивает мрак,
являя в ней абстрактную возможность,
так некто, позабыв про осторожность,
откликнется на мой масонский знак.

Он, оценив судьбу мою – в уме —
и просчитав эпоху – больше телом,
отмерит горькое зерно: «Он сделал!» —
и сорок бочек дыма: «Он умел!»

О чем ты раньше думал, счетовод,
под вечер просвещающий народ?
Зачем ты утром не пришел за мною?..

«С эпохой кто был накоротке,
всегда потом – в дурацком колпаке!» —
сорвется Голос лопнувшей струною.

11

Сорвется Голос лопнувшей струною.
Багряный лист погаснет в ноябре.
И может быть, взаправду – на заре
я распадусь на облачко льняное.

Поэтому ответственному гену
позвольте заявление всучить:
«Прошу моей горчинкой огорчить —
как вылепить – очередную смену!»

У жизни есть замашки бюрократа,
а может быть – медведя иль солдата:
просителя не пустит на порог.

Бессмертия не сыщешь и в помине:
и в дереве, и в подвиге, и в сыне
лишь есть чередование тревог.

12

Лишь есть чередование тревог
добра и зла, как солнышка и снега,
и эта повторяемость набега —
бессмертия единственный залог.

Так что же вы хотите, Голоса?
Давайте рассчитаемся по кругу:
я – первый – брошу солнцепек и вьюгу,
а ты – последний – веру в чудеса!

Какой он есть – печальный и безгрешный,
живущий в общежитье и скворечне,
искомый идол, аленький цветок?

Не он ли часто прячется меж нами —
дитя природы с длинными ногами,
привычное, как пол и потолок.

13

Привычное, как пол и потолок,
сожительство тревоги и восторга,
вне запада звучащий и востока
навеет Голос – вечный ветерок.

Мой пасынок, любовный Голос мой,
для вечного мала моя арена —
так вечным ключьям полиэтилена
сегодня тесен бедный шар земной.

Статистик я – впервые на коне.
Зачем-то сверху поручили мне
все мерять бухгалтерией двойною:

внизу – пустыни, наверху – дожди...
Век двадцать первый пляшет впереди,
и тень любви – уловлена спиною.

14

И тень любви – уловлена спиною —
скользнет теплом и холодом по мне,
отчетливая, словно на Луне,
согнувшаяся, как бы под виною.

Но я по праву гения мороки
не повернусь, не отклоню лица,
чтоб взгляда осужденного стрельца
не оторвать от виденья дороги...

Я над моим грядущим днем сегодня
пройду, как истребитель всепогодный
проходит над обломком колеса,

и – не высчитывая, что дороже, —
сверкну, исчезну, растворюсь – и все же
переложу себя на Голоса.

Мадригал

Переложу себя на Голоса,

чтоб целое звучало тише части,
шквал памяти – моей сильнее власти.
Пусть жизнь себя споет за полчаса.

Сформировав за пазухой звезду —
мне повторится дальняя дорога —
пониже червяка, повыше Бога
я с маршевою выкладкой пройду.

Все будет так. Но будет все не так.
Как молнию подчеркивает мрак,
сорвется Голос лопнувшей струною:

лишь есть чередование тревог,
привычное, как пол и потолок,
и тень любви – уловлена спиною.

Послесловие

Спасибо сделавшему жизнь мою
не камнем, а прозрачной паутинкой,
летающей то на север, то на юг,
поющей песню, как бы под сурдинку,
в твое многоголосие маня
любого, чья душа на перепутье,
за то спасибо, что там нет меня
и памяти об этом лилипуте,
за то, что ты уста мои разверг,
и слышать мне себя почти не стыдно,
за то, что после дождичка в четверг
взойдет заря и солнце будет видно.

Пять писем к одной женщине

1

Достались мне на этой
прокуренной земле
разменная монета,
бумага на столе,

суббота, воскресенье,
звезда над головой,
любви твоей спасенье,
котенок нежный мой!

Ах, белые колени,
немая черед —
как белые ступени
неведомо куда.

Так призрачна и шатка
тропинка в этот рай.
Резвись, моя лошадка,
доверчиво играй!

Беда тебя не тронет,
пока сто раз на дню
в слепых своих ладонях
лицо твое храню.

2

Мой дом забыт — он не проигран в карты,
не конфискован и не подожжен,
он был оставлен мною как-то,
как будто громом поражен.

Я, пораженный будто громом,
маячу на краю земли.
Не стань мне домом, о, не стань мне домом,
как звездный свет, как желтый лист!

По-прежнему среди равнины
стоит мой дом в кольце путей,
колокола рождений и смертей —
там рюмки отбивают именины.

Привычка там тоскует на пороге,
собака ожидает у дверей...

Не стань мне домом, как концом дороги,
событьем в неприютности моей!
И – далеко! И – глаз не опуская!
Не плачь по мне и жизни не жалея...
Не стань мне домом, словно птичья стая
над низкими квадратами полей!

3

Ты – для каждого ветра трава.
Я – для каждого времени вежа...
Зарастает дорога сперва,
а потом не видать человека,
а потом – не пылит, не гудит,
ни заботы, ни долга, ни дела,
только вольная птица сидит
на макушке моей заржавелой.
А потом – от меня ни следа,
лишь случайно – нетрезвый, наверно, —
человек проберется сюда,
ошалевший от солнца и ветра.
Он пройдет по – зеленой – тебе,
а куда и зачем – неизвестно,
удаляясь, как рябь на воде,
растворяясь, как дым поднебесный.

4

Задыхаясь и потея —
от работы взмылен он —
оголтело Галатею
оживлял Пигмалион.
Мне она досталась проще —
поздний вечер, ранний снег...
Я тебя в какой-то роще
видел во вчерашнем сне.

Затесался между нами
необычный ритуал —
я ветвистыми рогами
груши с яблони сбивал.

А внизу в траве зеленой
жили те, которых нет,
помню, что слезой соленой
захлебнулся я во сне.

Кровь, бесцветная, как лимфа,
хлынула. И что с того?
Но пришла нежданно рифма
повторением всего.

Видел я тебя живую,
всю – как редкий минерал,
всю – как рану ножевую,
от которой умирал.

5

Золотистые сполохи в листьях,
что свою затевают игру,
без расчета, без цели и мысли
развлекая себя на ветру,

да малиновый звон иван-чая
над сиротством звериных могил,
что звонит, никого не встречая,
потому что уже проводил.

Среди леса, как будто случайны,
проржавевшие рельсы лежат,
указав направление тайны,
все равно – что вперед, что назад.

Вот и все. Остальное легко мне
будет выключить – как отрубить.
И себя перед смертью не вспомню,
и тебя постараюсь забыть.

Попытка автопортрета

Мы разбросаны поодиночке,
словно клюква – от кочки до кочки,
а вокруг запятые и точки,
словно звезды на Млечном Пути.
Издавая красивые звуки,
изнывая от жажды и скуки,
мы опаснее черной гадюки —
на болоте легко нас найти.

Осторожно по жизни ступая,
берегись нас почище трамвая —
на куски разорвет наша стая.
Мы – поэты, а ты – человек.
Не играй с нами в карты и прятки,
а скорее беги без оглядки,
сам себе наступая на пятки,
вздыбив волосы на голове.

Не ходи сюда, сынок,
не плети себе венок —

поперек и вдоль аллей
здесь гуляет Бармалей.

В музыкальной шкуре он —
в нем играет патефон,

ручку крутят наверху.
Понимаешь, who is who?

Ими он пока храним —
солнце яркое над ним,

а под ним наоборот —
черный мрак и тонкий лед.

Шестерка быть мечтает козырем —
известна формула сия.
Кем стать – горою или озером —
не раз задумывался я.

И посреди равнинной пустоши,
сбиваясь голосом на вой,
высокое с глубоким спутавши,
бывало, бился головой

об этот псевдоионический
фрейдистский перпендикуляр,
потом бесстрашно, но панически
в глубины темные нырял,

где нет ни памяти, ни зрения,
и тихо, словно на Луне,
и боязливо жметя к Времени
воспоминанье обо мне.

Несостоявшийся портрет
повешу на стену я скоро,
смотрелось чтобы мне вослед,
как Алитет уходит в горы.

Напрасно конь его заржет,
и дева рухнет на колени,
когда в повозку запряжет
оленья он или тюленя.

И налегке, без барахла,
не столько дальше, сколько выше
помчится он, упившись в хлам,
в обитель Гаршина и Ницше.

А что он жил не просто так,
неоспоримая улика —
в глаза вам глянет пустота
ненарисованного лика.

Если бы я был царь,
сменил бы я календарь,
велел считать не года —
любовь и печаль, тогда
три собаки тому
назад (а возможно, вбок)
было виденье ему,
да не пошло оно впрок.
Только в который раз
кольнуло сердце и глаз.

Возле Нарвских ворот

в зеркале сточных вод
наградю из наград
всплыл ему Китеж-град.
Видел он дивный храм,
полный людей и зверей,
входов сто было там —
не сосчитать дверей.
Что смутило его —
выхода ни одного.

И с пустотой в горстях —
авось поймут и простят —
он повернул каблук
в сторону наук.
Искал не Дом и не Свет,
не Начало Начал,
то искал, чего нет,
нашел любовь и печаль.
Слепленный из кусков
от кепки и до носков.

Накрываясь медным тазом,
посмотрю я третьим глазом
старое кино.
Проходил там, как на рынке,
от брюнетки до блондинки —
кто? Мне все равно.

Говорил старинным сказом,
выпивал двух зайцев разом —
водку и вино,
слов прозрачнее росинки
и чернее керосинки
было в нем полно.

В каждой песне был солистом,
пусть не в меру мускулистым,
но зато давно.

Даль повенчана с Богом, а жизнь коротка —
смех, да плач, да десяток событий,
поле жизни моей продается с лотка —
прикупите к своей, прикупите!

Ты войдешь в этот шумный и яростный бред
и, стихи почирикав-почиркав,
обнаружишь, что разницы, в сущности, нет

между Небом, Землей и Овчинкой.

Все они – ближний Гром
и пронзительный Свет,
и, доверившись глазу и уху,
удивишься, что разницы, в сущности, нет
между мною, тобою и Ктулху.

Се Синбад

Седьмое странствие Синбада —
сберкасса, слава, суета,
сердец случайных серенада,
скулеж семейного скота...

Сержант серийный, сын Сатурна,
смутьян смиренных светляков,
скрывает суть свою – скульптурно
стоящих столбиком сурков.

Слепой сверчок, смычок суфийский,
Синбад седьмой смакует сон —
самум свирепый, суд сирийский...
Синбада спас султанский слон.

Сжимая саблю самурая,
сосредоточенно сердит —
сиделец старого сарая
сияний северных среди.

Смахну слезу. Скажу со смехом:
«Синбад, спасибо! Соловья
слабо сожрать, сухим скелетом
стихотворение суля?»

Мои читатели ходили по воде,
толпу тремя хлебами насыщали,
входили в ров со львами и везде
меня на выдохе прощали.
Но был один. Непостижим уму,
не одобрям-с, не водрузим на знамя,
страдательный залог не шел ему,
действительный? Но я не сдал экзамен
на исповедь, на глубину морщин,
такую, чтобы в каждой – по закату,
на разделенье следствий и причин,
на черный хлеб и белую зарплату,
на... И на этом оборву кино —
понятно, что отселе, но доколе?

Ведь крякозябрами мне все равно
не выразить его, как ветер в поле.

По жизни проходил он акробатом —
секунда каждая обратным сальто пахла.
Психически – немножечко горбатым,
физически – лепи с него Геракла.

Постился он, по двадцать дней не евши,
его любили женщины и звери.
Психически – от книжек охувевший,
физически – постигший йоко гери¹.

Смотрел он на брюнетку и блондинку
как на цветок, лишь для него раскрытый.
Психически – с компьютером в обнимку,
физически – умытый и побритый.

Вокруг него менялись люди, даты,
он оставался молью не потрачен.
Психически – уволенным солдатом,
физически – мы о таких не плачем.

А в жизни предсказуемости нету,
и он умрет без видимой причины.
Психически – обрадовшись рассвету,
физически – беззубый, но в морщинах.

Сада такой тишины не упомяну я.
Ветер унялся, и еж не шуршит.
Ночь на пороге, простим ее, темную.
Дню соберем на поминки души.

В доме все странно —
будто меня никогда здесь и не было,
словно прошли без меня здесь века и века,
девочка Маша
никогда по комнатам этим не бегала,
пыльной крышки рояля
ее никогда не касалась рука.

Из зеркала пялится темное чучелом чучело,
глаза до того беспокойные —
оторопь прямо берет.
Вот ты какая, реинкарнация Тютчева...

¹ Йоко гери – один из самых мощных и эффективных, но технически сложных ударов в карате.

Сердце – где справа,
а член, как и был, – где перед.

В прошлой жизни я был ископаемым,
залегающим столь глубоко,
что в спещовке своей промокаемой
за меня получал молоко

тот шахтер, что по пьянке улыбистой
мне кайлом по макушке стучал,
чтобы я – протяженный и глыбистый —
чистым звоном ему отвечал.

В этой жизни я весь на поверхности,
на ладошке – вдали и вблизи,
без ужимок изящной словесности
не вгрызайся в меня, а скользи!

А в конце, словно лыжник с трамплина,
оттолкнись от меня, и тогда
мы с тобой станем небом единым
в жизни будущей и – навсегда.

Россия, такая Россия

Родина начинается с эр.
По привычке рычанье усиля,
мы плохой поощряем пример
фонетический в слове «Р-р-рысИя».

Уж тогда бы сказать «Р-р-рысиЯ»,
чтобы каждый, пусть русский, но крысий,
утверждением фальшивым «И я!»
мог хоть как-то примазаться к Рыси.

Что сказать о России —
широкой и длинной стране,
ее тайном пороке – мечте о чудном и высоком,
о судьбе малахольной —
летать между делом к Луне,
о Царице Небесной,
что смотрит не глазом, но оком?

Что сказать о России? Столбов огневых кутерьма,
что воспел на разломе времен
колченог однорукий.
Высшей мерой за это прозренье Россия сама
наградила его, от забвения взяв на поруки.

Рифма тянется к рифме,
чтоб тень навести на плетень.
Если спросят тебя —
что ты можешь сказать о России? —
петухом кукарекни, кастрюлю на темя надень
и язык покажи,
чтоб тебя второй раз не спросили.

Пискаревское кладбище

Как темны мои мысли...
Как небо сегодня светло...
Как мешают автобусы —
сердце слышать мешают...
Иностранные люди на камни наводят стекло,
иностранные люди, вздохнув, навсегда уезжают...

Этот рваный огонь... Ну зачем я стою у огня,
словно маленький мальчик

перед небом, перед жизнью, перед смертью?
Мне понять надо больше,
чем может вместиться в меня, —
я себя посылаю как будто в другое столетие.

Как давно в это небо
неслышный мой крик отлетел...
Для входящих сюда
сохранить его громким сумеете!
На холодной земле перед смертью я хлеба хотел.
Я согреться хотел.
Я забыться хотел перед смертью.

Здесь – могила моя.
Я лежу в этой красной земле —
бесфамильный мертвец,
не оплаканный пеньем и звоном.
Только тянутся розы слепыми корнями ко мне,
только синее небо высоко, как над стадионом.
Только кружатся ласточки,
щелкает флагами высь.
Наконец-то вокруг все как надо идет,
все – как надо!
Возвращаюсь к живым —
на работе меня заждались,
ухожу, как лунатик, из этого скорбного сада...

Я на сотню людей, что заденут меня рукавом,
и на тысячу лет,
что пройдут надо мной незаметно,
сохраню ощущение —
как мертвый стоял на живом,
а точнее – как смертный стоял на бессмертном.

Мы жили между яблоней и вишней,
как ежеиков счастливая семья —
хоть Волочёк, но был он все же Вышний —
тот Китеж-град, где уродился я.

Еще я помню имя Агриппина,
смешное слово – что ни говори,
звать бабушку я забывал так длинно,
ее назвал я бабушкой Агри.

Агри спала на сундуке в прихожей,
сундук менялся в стол, склад и кровать —
как бы в каюте. Нравилось пригожей
ей теплую погоду называть.

И бабушка, не атаман ни разу,
алмаз и жемчуг в сундуке храня,
из сундука вытаскивая фразу,
за борт ее бросала для меня.

И мне среди разбоя и тумана
светили эти бледные огни:
«Пускай тебя подряд сто раз обманут,
ты только никого не обмани».
Сундук уплыл, невидимый для глаза.
Но иногда сквозь темноту и лед,
вся белая, всплывает эта фраза
и в черных волнах памяти плывет.

Хоть долго я беспамятству учился,
для нашей жизни плохо я гожусь,
как ни лечился, я не долечился —
убью легко, а обмануть стыжусь.

Ни рак с его клешней, ни конь с его копытом
не заходил сюда, наверное, лет сто,
в лесу царил тоски и времени избыток,
линялая лиса косилась из кустов,
нарушивши покой некрашенных крестов.

Искал я не плиту – хоть малую отметку,
под комариный звон и сам себе не рад,
я молча отозвал уставшую разведку,
и кочку выбрал я с крестом, но наугад,
и прикоснулся к ней, оставить чтоб заметку —
мол, был я здесь, и я не виноват.

И что? И – ничего. Ни ветра, ни ответа
сырой земли, как сказки говорят,
Земля была безвидна, как до Света,
тверда и холодна, как Родина моя,
но некий Дух уже носился где-то,
мою судьбу не видя, но творя.

Ломаю в жизни я комедию, не драму,
и толком не пойму – где зритель, где я сам,
но иногда тот лес, почти как рай Адаму,
мне грезится, хоть я не верю чудесам, —
там бабушка моя, не имущая сраму,
как дым Отечества, восходит к небесам.

Сон в новогоднюю ночь

Тощих в сон мой пришли семь коров,
и толпа набежала народу —
каждый голоден и нездоров,
проклинает судьбу и погоду.

Я спросил одного молодца:
«Что ты ропщешь на жизнь молодую?»
Он ответил: «Мы алчем песка,
пусть покажет, где раки зимуют».

И вдали показался зверек,
но толпа онемела вопросом —
это был не песец, а сурок,
золотистый, с коричневым носом.

Он пропел нам, что меху сурка
не страшна непогода любая,
и, упершись руками в бока,
нам вприсядку исполнил Бабая.

Новогодний веселый азарт
подхватили и Маши и Вовы,
и, тучнея у всех на глазах,
молоком наливались коровы.

Явь в новогоднюю ночь

Помню ночь новогоднюю, Мраморный зал
в сером кубе, что именем Кирова звался,
грубых гаванских мальчиков, кто что сказал,
почему я на улице с ней оказался.

Помню глаз подмалеванный и напудренный рот,
помню, как я уверен был, что так не бывает, —
мне хотелось назад, но я ехал упрямо вперед
в жестяном, громыхающем, мерзлом трамвае.

Помню мост Володарского, там я устало зевнул.
Помню, как на рукав две снежинки упали.
Помню, как бритвой он слишком рано взмахнул.
Помню, как ее блеск мы при луне увидали.

Помню длинного тела короткий полет,
от удара тяжелого брызнули льдинки,
от воды набежавшей черным окрасился лед...
Я нагнулся – шнурок завязать на ботинке.

Весна, не весна, только знаю —
испортив тебе аппетит,

на хату твою, ту, что с краю,
саврасовский грач прилетит.

Усядется молча, и черный —
как если бы кожу содрать —
тебя проберет до печенок
земли законный квадрат,

затянет протяжно и голо,
метель зажимая в горсти,
унылую песню монгола —
но ты ее в душупусти!

Так будь же хоть этому верен —
проснувшийся правдой живет.
В конюшне твоей сивый мерин
гнилую солому жует...

Приди, потрепи ему холку,
коль нечего больше отдать,
слезу урони, хоть без толку,
да выразишь в бога и мать!

Исполнишь хоть этого смысла —
катарсиса в темных тонах,
а ту, что на стенке повисла,
картину Малевича — нах!

По вечерней заре кукунулось три раза,
недостроенный дом шевельнулся вдали,
в небесах прокричало: «Гляди в оба глаза!» —
прокурлыкали мне журавли.

Мне смотрелось всю, растопырив гляделки.
По всему горизонту, закат теребя,
только мошки летали да прыгали белки —
это ведь не урок для тебя!

Я впустую смотрел, но внезапно под ветром
колыхнулись две ветки впритирку со мной,
запевая зеленую песню об этом —
что стояло меж мной и луной.

Мне судьба ничего показать не хотела,
только голос ее что-то мне посулил —
там, за гранью души, на окраине тела
недостроенный дом проскулил.

Те, кто чего-нибудь стоят,
мир этот заново строят,
вроде Большого Фиделя
из маленького борделя.

Те, кто чего-нибудь стоят,
ночью по-волчьи воют,
а те, кто с присвистом дышат,
мечтают залезть повыше.

Те, кто чего-нибудь стоят,
слово несут простое,
а те, кто с присвистом дышат,
книжки умные пишут

про то, как мир перестроят
те, кто чего-нибудь стоят.

На ужин закажу-ка я политику —
не забыть бы поперчить и посолить —
и скажу себе, как доктор паралитику:
«Постарайтесь хоть ушами шевелить».

Шевельну рогами и копытами,
подниму высокую волну,
с красной тряпкою и песнями забытыми
я отправлюсь на последнюю войну.

И во мне самом – от памяти до печени —
все ощерится, чему идти на слом,
а винтовками народ очеловеченный
прошагает над моим столом.

Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
Наверняка не я с седою бородой,
не два моих кота, не три моих актера-
стихотворения, которые нескоро
закончу я, пока что над водой
висящие, как бабочка, в которой
себе мы снились в темноте ночной,
а на рассвете... Что еще за бредни?!
Я на тебе, как на самом себе, стою.
Проигран бой, и я хочу последним
покинуть тонущую палубу твою.

«Предприниматель» – слово это дико.
Чем в ухе русского оно отозвалось?
Привычка лгать. Два-три рекламных крика
да вечные «А хули?» и «Авось».

Нехватка чернозема на Руси,
соборности, державности и братства,
зато имеет всяк – хоть не просил —
избыток желчи, бедности и блядства.

Мы издавна с собою не в ладах,
и нас корежит по привычке древней
избыток керосина в городах,
нехватка электричества в деревне.

Происходя от взбалмошных макак,
но к праотцам забывши уваженье,
мы знаем «что», но не умеем «как»,
верченьем заменяя продвиженье.

А жизнь проходит каждый день зазря,
и, соль себе на рану посыпая,
скажу: «Тридцать второго марта
медведь во сне взревел, не просыпаясь».

Трудно не выть на луну
перед отеческим гробом.
Глядя на «эту страну»,
трудно не стать русофобом.

Трудное мне по плечу,
галстук сменив и рубаху,
память свою залечу,
словно больную собаку.

Вспомню я песню одну —
такие сейчас не поются:
«Трудно уйти на войну,
легче с войны не вернуться».

Ни слова, о друг мой, ни вздоха,
судьба – чемодан и вокзал,
на родине будет все плохо,
как Хазин намедни сказал.

На родине будет все скверно,
все беды сольются в одну,

но ты, начитавшись Жюль Верна,
из пушки взлетишь на Луну.

Жидовских банкиров там нету,
и каждый простой селенит
из лунного света монету
чеканит, про жизнь не скулит,

инфляцией пренебрегает
и, щупальцами шевеля,
глядит, как внизу умирает
постылая Мать-Земля.

Хазинскому форуму

На этом форуме – едри его в качель! —
так много мудрости (гребь ее лопатой!),
что самый искушенный книгочей,
слепой, полубезумный и горбатый,
постигнет Истину, которую ничей
не мог доставить возмущенный Разум,
смотревший на эпоху третьим глазом,
кипящий в темноте над унитазом.

Поймет он, что капитализм протух,
бюджет Америки никто не залатает,
но три доллара все же лучше двух,
и, не имея оных, зарыдает.
И каждый здесь, как боевой петух,
бьет в морду и Обаме и Бараку.
Лишь Нестеров, чтоб лично не ввязаться в драку,
взамен себя послал туда свой аватар – собаку.

Разговор с дятлом

Там в городе, а здесь на небесах,
там в скверике, а здесь на перекрестке
души и тела... Я не при часах,
отмерь полвечности, давай-ка по-матросски,
по-сталински за жизнь... О боже мой,
опять наш тет-а-тет не состоялся!
Куда, куда? Добро бы хоть домой,
да нет, он просто как с цепи сорвался.
Он в спешке, на резиновом ходу,
руками в рукава не попадая,
бежит: «Сюда я больше не приду,
не для меня беседа эта злая!»
Вернись домой и, отходя ко сну,
приди ко мне, пока еще не поздно.
«Зачем?» Затем, что дятел бьет сосну,
наверное, для сотрясения мозга.

Птицы России

Над всей Испанией безоблачное небо,
а над Россией – черт ее возьми! —
Дериватив барометр понижает,
седой, но черный, Шев разинул клюв,
как птица Пенис, вставшая из пепла,
кружит – тяжелый, словно мокрый снег —
и каркает: «Кто виноват? Что делать?»
Подохли Алконос и Гамаюн,
а Сирина нервно курит в коридоре,
посматривая в потолок – когда ж
откроется безоблачное небо?
Рах с Метом клювом гирию теребят,
надеются ударить ей по рынку,
оправдываясь, словно канарейки —
мол, гвозди нынче так подорожали,
что для постели не укупишь их.
Лишь Нестер подозрительно нетради-
ционное чего-то там клекочет
и торт с названием «Птичье молоко»
не то чтобы с тоской, но вспоминает.

Либо время прокисшее, либо
я всегда против шерсти пою,
только бледная немочь верлибра
раздражает щетину мою.

Наползает, безлик и бесцветен,
на язык этот чуждый налет,
а поэты – беспечные дети:
кто его не сотрет, тот умрет.

Полукровка молитвы и песни,
на которых Россия стоит, —
русский стих без меня не воскреснет,
а воскреснет, так не воспарит.

Но, по праву и сына и внука
снова Слово являя на Русь,
я в набеге открытого звука
и высокого неба вернусь.

По макдональдсам, пням и корягам,
обретая в пути меч и щит,
сквозь игольное ушко к варягам
мне б из греков себя протащить.

Я крупно Россию увижу —
так светлое видят во сне,
как только подъеду к Парижу,
а лучше – приближусь к Луне.

А лучше – на смертном пороге,
когда сам себе господин,
придут ко мне малые боги
смоленских лесов и равнин.

Послы полномочные скита,
великой державы живой,
я жил незаслуженно сыто
на вашей земле трудовой.

Я жил... а теперь уж не буду —
ни горе, ни радость, ни грусть...
Возьмите меня, чтоб повсюду
я с вами остался, и пусть

на самом крутом повороте,
чтоб свет все увидеть могли,
мелькну – огонек на болоте,
пузырь этой черной земли.

Персональный бестиарий

М. С.

О, как протяжно и непонято
мы выросли из кроватей,
как тесны становились комнаты
и пиджаки – коротковаты!

Когда смеясь, когда печально,
блестя набитым кулаком,
мы начинались – безначально,
как от границы далеко.

Как до границы – запрещено,
не надо бы, а мы все шли...
И ход парадный вел – крученный —
почти от уровня земли.
А наверху, как на вершине,
жила сутулая судьба:
чтоб становиться нам большими —
как будто с пеной на губах.

Надгробье отца

Под этой коричневой глыбой
путем плавников или крыл
ты стал воробьем или рыбой,
взлетел или тихо уплыл.

А может быть – божья коровка —
резвишься ты в летнем раю,
и я, повернувшись неловко,
по пьянке тебя раздавлю.

Прости мне постыдную тяжесть
ноги, что пока что со мной, —
ведь Та, кто не веники не вяжет,
уже у меня за спиной.

И. Б.

Раскроется город, как будто прекрасная роза,
уставшая жить, дотянувшая зря до мороза,
и розой петлицу украсит плешивый и пылкий
поэт, разорвавшийся

между тюрьмой и бутылкой.

И три поколения, три лепестка отлетят —
останутся в городе дети и внуки блондинов:
брюнеты, как бабочки, в ласковом танце сгорят,
порхая вокруг золотого огня Палестины...

Лишь тихая моль – середина полночного сна —
сведет наши тени,
чтоб, в сонные воды взглядевшись,
увидели мы, как исчезнет большая страна...
Засим отпускаеши... или же Камо Грядеши?

Г. С.

Не человек, не сокол,
без крыльев и без ног
вознесся ты высоко,
а все же – выше Бог.

Берешь ты авторучку,
она как током бьет,
а Бог тебе получку
за это подает.

За это кормит хлебом,
за это иногда
показывает небо,
где падает звезда.

Мы пущены по кругу —
волы на молотье —
стихи читать друг другу,
ты – мне, а я – тебе.

То слева жизнь, то справа,
то – флейта, то – труба,
то для меня – забава,
то для тебя – судьба.

В. С.

Лысый муж ружье кривое
зарядил, себе не рад,
в белый свет палит он стоя,

как бездушный автомат.

Слово за слово дуплетом
попадает в небосвод,
отражаясь рикошетом
то в колено, то в живот.

Маму с дамой он рифмует
и с аврами коров,
с каждым выстрелом рискует
стать добычей докторов.

Он – король до сердца голый,
и незнамо для чего
изучают дети в школе
биографию его.

Д. Х.

Земля стоит на черепахе —
старухе в каменной рубахе.
Употребляя алкоголь,
старуха делит мир на ноль —
типично русская беспечность,
что порождает бесконечность.
Располагая тяготеньем —
страданьем нашим и терпеньем,
старуха весело живет,
то нас стреляет вполз и влет,
то нам – летящим на заре —
подкинет точку и тире,
словишек мелкие дровишки...
Но иногда из нашей книжки
старуха падает в окно,
и нам становится темно.

Капитаны

В. С.

Живут они, не тужат – такие времена! —
Играют, а не служат: погоны, ордена...
На север уезжают спокойно, как на юг,
их жены провожают, на цыпочки встают.

Чего там огорчаться, недели не пройдет,
и можно возвращаться – пустячный перелет!

А капитанам помнится, сегодня и всегда,
красное солнце, белая вода,

высокие заботы вечной мерзлоты —
подземные заводы, бетонные ходы,
где не спасает часто свинцовая броня
от тихого несчастья без дыма и огня.

В палату капитанов поправиться зовут.
В палате капитаны живут и не живут.
Домой приезжают смущенно – как без рук,
и жены не рожают – любовников берут...

Уходят капитаны без чая по утрам,
ходят капитаны за смертью по пятам.

Короткая стрижка. Чеканные слова.
Медовая коврижка. Седая голова.

О. М.

«Вот и снова пора листопада», —
нам поэт с придыханьем споет,
и ты спросишь: «Оно тебе надо? —
журавлиный короткий отлет,
чтобы ты в никуда ниоткуда —
даже тень не скользнет по траве —
прокурлыкал, погода покуда
не отметилась в календаре
октябрем, чтобы ты... ну не знаю...
чтобы там... ну неведомо где
пролетел, заблудившись трамваем,
растворился в земле и воде?»
Но хотя нам еще на работе
выдают и любовь и паек,
на глухой человеческой ноте
пусть поэт нам и дальше поет,
как летят, уносимые ветром,
золотые листки сентября...

А кого мы жалеем при этом,
заклинанье творя про себя?

Г. М.

Черный дом на горе головой задевает луну,
а над ним и под ним бесноватые краски заката...
В этом доме когда-то я взвесил любовь и войну
и отсюда ушел по чужому приказу когда-то.

Полустанок, забытый на долгие те времена,
в кои ломом махал я и ел из казенной посуды,
все прошло, кроме жизни:
любовь, и печаль, и война, —
я вернулся к тебе,
как тогда возвращались повсюду.

Полустанок заброшенный, долго тебя я искал,
подвела меня память,
как будто дворняжка простая...
Протащи меня, время, по этим горячим пескам,
голоса паровозов,
как прежде, повсюду расставив!

Я вставал спозаранку и пни корчевал дотемна,
на ветру к бороде примерзали кора и сосульки,
а над домом проклятым все так же стояла луна,
и пиликала скрипка, и мухи шалели от скуки.

Я пройду мимо дома, ему ничего не сказав,
среди ночи возьмет меня
медленный-медленный поезд,
я случайным попутчикам
врежу три раза в «козла»
и на этом совсем успокоюсь.

М. А.

Отбыла ты в такие края,
улыбнувшись от уха да уха,
что, загадку давно не тая,
проживает поэма твоя,
как привычная птица и муха.

Твой целебный загадочный свет,
голубой, как зарница с Босфора,
словно сшитый не нами жилет,
облегающий твой силуэт,
позабыт и вернется нескоро.

Твой круиз из карниза в туман,
что достался тебе за бесплатно,

вспоминается, как балаган,
как готический пухлый роман,
что листаешь туда и обратно.

Равнодушно встречая восход,
постороннему зову внимая,
даже кошка к тебе не придет,
после ночи бессонной зевая,
словно слава твоя мировая.

Н. О.

Ты меня приняла полустанком,
которому нет двадцати,
где еще до сих пор не замылены
люди, и звезды, и кони,
приняла-поняла,
что возможно всю жизнь провести,
пролетая сквозь годы
в изысканном спальном вагоне.

Поняла... нет, не так —
стал доступен удел и удар
без оглядки сойти
и пуститься в решенье простое...
Что поделать,
вдвоем наша стая была хоть куда —
только не было мира,
куда ее можно пристроить.

А потом напоследок привиделась нам темнота,
что на волю просилась из нашего духа и тела,
как безглазый ребенок-двойняшка,
скулила внизу живота
и, как птица ночная,
с невидимым шумом взлетела.

Я слова не люблю —
их подделать легко и стереть —
сотворенные нами вторичные мелкие твари,
то ли дело на голову криво кастрюлю надеть,
и руками всплеснуть, и тебя по коленке ударить!

М. Б.

Одна талантливая поэтесса
придумала физика-недотепу,
который спросил, напирая на аллитерации:
– Как можем мы жить, если над каждым
висит более сорока тонн тротила?
За окном было пусто и холодно,
глухо было в кармане, пойти было некуда,
и я – ни за что ни про что
оказавшийся в эпицентре вопроса —
вдруг понял, как стосковался
по черному хлебу правды
среди поэтических анчоусов и выкрутасов.
А действительно, КАК?
И я, грешным делом, поверил
обратному процессу переработки бумаги
в древо познания добра и зла —
какие плоды звенели на его ветках?

Сначала мне доказали,
что трава прорастет все равно.
Экое утешение на старости лет.
Я – человек! Как бы мне не свихнуться
от этого счастья кузнечика!
Потом обстоятельно и подробно
(за это время можно было зачать человека
или спалить государство)
мне рассказали о бедных греческих узниках,
о Вечном Женском Начале
и Хранителе Времени,
болтающем с интонациями
жмеринского портного.
Чтение этой литературы,
злоупотребляющей заглавными буквами,
напомнило мне кормление
павловской собаки с фистулой в брюхе,
и я подумал, что право тревожить мир
заслуживают лишь те, кто могут его изменить.
Да, технократия, да!
Да, элита рабочего класса —
стеклодувы и операторы станций слежения,
программисты и наладчики гироскопов!
Благодаря вас, мы бредем по колено в навозе,
но благодаря вам наши авгиевы конюшни
будут решительно вычищены,
даже если потом придется начать все сначала —
с червяка!
Так мы живем.
Одни переламывают мир, как двухстволку,
другие в эту минуту спрашивают по радио,

возьмет ли человек в космос ветку сирени, —
более дурацкого вопроса я просто не знаю! —
до тех пор, пока им доступно не объяснят:
лучше не иметь слуха и голоса,
чем музыкально кричать «и-го-го!».
Поэт, ставящий большие вопросы
и отвечающий на них в манере
первого ученика,
подобен зубному врачу,
который говорит человечеству:
«У тебя болен зуб мудрости,
но я не буду лечить его —
пусть болит!»

А. П.

Под сердцем шевелится
осколок прежних лет:
красивая певица
поет, сходя на нет.

Маэстро на рояле
играет – как летит,
далекий от печали,
макушка – в конфетти.

Счастливый, он не знает —
не по его уму —
что руки простирает
певица не к нему.

Меня зовет певица —
живой воды глоток —
и праздник этот длится,
пока в розетке ток.

И. К.

Обретя неизбежность ухода,
с легким сердцем и песней в крови,
муравей в ожидании Года
собирает пожитки свои.

Что возьмет он? О чем пожалеет?
Кто ему будет брат? Кто жена?

От поэзии быстро жиреют,
за границей она не нужна.

Всяк кусок ему станет не главный,
и в рюкзак под затяжку ремней
не засунет он плач Ярославны
как иллюзию прожитых дней.

Впрочем, наши пристрастья и вкусы
за тебя не тобой решены...

Он идет, победитель дискуссий —
семисаженный Князь Тишины.

А. К.

Светофор чуть качался, как яблоко желт.
Я от женщины шел, я от женщины шел.
На углу – ну и ночь, не метель, а потоп! —
замерзал человек, распахнувший пальто.
Замерзал человек – то ли пьян, то ли глуп,
он стоял на углу и кричал на углу:
«Ты мне только пиши! Ты мне только пиши!»
А кругом – ни души, ни единой души.
Зеленели снега у закрытой пивной.
Он кричал, как корабль,
он кричал, как журавль, —
человек. Я его обошел стороной.

О. В.

Где птицы взлетают – я там ничего не хочу.
Где птицы садятся – примите меня в эту стаю!
Не бойтесь меня, я лицо свое отворочу,
секретов не выдам, увижу в толпе – не узнаю.

А что в голубом ты, так я тут совсем ни при чем,
скорее, в багровом мой путь без конца и начала,
И я на прощанье тебя не задену плечом,
чтоб с легкой душою и ты мне в ответ промолчала.

Б. П.

Зеленых человечков артель «Напрасный труд» —

то мне растопят печку, то мусор подметут.

То пропадают пятна на скатерти моей,
то прибежит обратно горячесть батарей.

Как будто на неделе даны мне семь суббот,
я в духе сплю и в теле, не ведая забот...

Но догорает свечка, и – путаясь в ночи —
зеленых человечков не вижу – хоть кричи!

Стою среди развалин магических щедрот,
вдвойне рационален, как Бойль и Мариотт.

Огромная, как туча, хотя на вид легка,
несделанного куча уже до потолка.

Тружусь как зверь. Не тает, а все растет она,
минут уж не хватает для отдыха и сна.

Не спи, не спи, художник, не предавайся сну,
как железнодорожник, что воет на луну.

Прогулки

Кузнечик стрекотал, и спелая малина
роняла в чашу красную слезу,
и купина еще была неопалима,
но бури глаз смотрел на суету внизу.

Внизу был я, подстриженный под ежик,
из пустоты нас кто-то изваял —
там были многие, и ты был тоже,
вас не уменьшится, когда исчезну я,

когда, проливши пиво по усам,
на интернете чуточку потренькав,
пройду я по Земле и Небесам,
где – в зеркале, а где – на четвереньках.
Оставлю вам два, может, три стиха —
про равенство бессмыслицы и смысла,
про зверя, говорящего «Ха-ха!»,
про шапку, что на дереве повисла.

Оставлю вам картину на стене —
игру теней и разноцветных пятен
с названием «Три женщины в огне»,
которую хотел купить Шемякин.

Обернувшись цыганом с медведем,
при когтях и седой бороде,
мы с тобой на телеге поедем
по земле, небесам и воде.

Мы с тобой – ты и я! – на скрипучей,
спотыкаясь – удел наш таков —
между радугой, Богом и тучей,
и приедем в Страну Дураков.

Замяучим, залаем собакой,
Дураков собирая в толпу,
завлекая их красной рубахой
и звериной морщиной на лбу.

И зачтется нам в плюс – тунеядцам —
рукотворная та благодать:
над тобой будут бабы смеяться,

надо мной мужики хохотать.

И споем мы с тобою, и спляшем
краковяк для усталых сердец,
и покажем и нашим и вашим,
как легка эта жизнь под конец.

В этом городе не было огнегривого льва,
и вола, что исполнен очей, я не встретил.
И высокие звезды виднелись едва
сквозь вечернюю дымку, их свет был несветел.

А прохожие были мелки и пусты,
словно полые куклы, гонимые ветром,
но щемило внутри от чужой красоты
необычного города, слышался в этом

там и здесь одинокий блуждающий звук
в обиходе привычного духа и тела —
это чья-то душа, выпадая из рук,
на асфальте, а может, граните звенела.

Много раз в ночь мою этот сон приплывал,
словно Пьяный Корабль в неземном переводе,
каждый раз я наутро с кровати вставал
с головою больной и слезами на морде.

Амфибрахия длинное тело
под колодой угрюмо лежит —
на осеннее мокрое дело
вышел Дождь-Мутный-Глаз-Вечный-Жид.

Спотыкаясь о наши могилы,
никогда не сбиваясь с ноги,
он идет – долгополый, унылый,
вездесущи его сапоги.

Он уйдет в никуда из природы,
по дороге роняя слезу,
и мы выползем из-под колоды,
чтоб на ужин словить стрекозу.

Воздавая должное Сократу,
чашу подносящему ко рту,
доверяю Юнгу, как солдату,
попадающему в муху на лету.

В тех краях, куда все полетим мы,
растеряв значительность свою,
бессознательный нас ждет, но коллективный
Бог, которого увидел Юнг.

В анекдоте, песне или байке
ты всегда среди живых живой —
архетип в засаленной фуфайке,
с общим сердцем, общей головой.

Все впервые сыграно и спето
до тебя, в предвечии времен,
и – какого ни возьми поэта,
не придуман он, а повторен.

Превратится уголь раскаленный
в головешку на исходе дня,
и в простор, не нами сотворенный,
я шагну, свободный от огня.

Облик Ярилы бледнеет в блинах —
ест его тело еврей и вайнах,
сикх, и особенно странен
в этой толпе христианин.

Я никогда никого не молю,
просто Ярилу с икрой люблю,
а ежели пусто в кармане —
с маслом, а лучше – в сметане.

После какого-то праздника, с болью в боках,
домой воротиться не мог я никак —
брел я по пыльной дороге
в рубище, мраке, изжоге.

И напоследок под утренний гул
Юнг с укоризной мне в ухо шепнул:
«Ты коллективного Бога
употребил слишком много».

Поле что-то хотело сказать,
проявить себя в солнечном блеске,
но пришлось ему лапы связать,
и очнулась душа в перелеске.
В пере-топанном, пере-житом,
пере-думанном, пере-солённом,

где я воду носил решетом,
и лечился углем раскаленным,
и бродил – сам себе Бармалей —
одиночка среди одиночек,
а русалка с высоких ветвей
мне пропела про синий платочек.
...Этот сладкий медлительный яд —
близкий морок доступного рая,
где деревья на месте стоят,
не рождаясь и не умирая...

В чистом поле на дереве шапка висит,
собирая дождевки и ветер,
я сто раз проходил там от сих и до сих,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.